

Владимир Гиляровский

**Трущобные люди. Рассказы,
очерки, репортажи**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Г47

Г47 **Гиляровский В.**
Трущобные люди. Рассказы, очерки, репортажи / Владимир Гиляровский – М.:
Книга по Требованию, 2012. – 280 с.

ISBN 978-5-4241-3131-8

Во второй том Сочинений вошла книга "Трущобные люди", а также рассказы, очерки, репортажи.,

ISBN 978-5-4241-3131-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Владимир Алексеевич
Гиляровский
Собрание сочинений в четырех
томах
Том 2. Трущобные люди.
Рассказы, очерки, репортажи

Трущобные люди

Человек и собака

— Лиска, ляг на ноги да погрей их, ляг! — стуча от холода зубами, проворчал нищий, стараясь подобрать под себя ноги, обутые в опорки и обернутые тряпками.

Лиска, небольшая желтая культяпая дворняжка, ласково виляя пушистым хвостом и улыбаясь во весь свой ротик с рядом белых зубов, поднялась со снега и легла на заскорузлые ноги нищего.

— Эх, Лисичка! и холодно-то нам с тобой и голод» но! Кою ночь ночуем на морозе, а деваться некуда... В ночлежных обходы пошли, как раз к «дяде»¹ угодишь, а здесь, в саду, на летнем положении-то, хоть и не ахти как, а все на воле... Еще спасибо, что и так, подвал-то не забили... И чего это в саду дом пустует: лучше бы отколотили доски да бедных пушали... А вот хлебушка-то у нас с тобой нет... Ничего, до лета потерпим, а там опять на вольную работу, опять в деревню косить пойдем и сыты будем... В лагеря сходим... Солдаты говядинки дадут... Наш брат солдат собак любит... Сам я вот в Туречине собачонку взял щенком в лесу, как тебя же, выкормил, выходил и офицеру подарил. В Расею он ее взял... «Чудаком» звали собаку-то. Бывало, командир подзовет меня и спросит: «Как звать собаку?» — «Чудак, мол, ваше благородие!» А ён, покелича не поймет, и обижается, думает, его чудаком-то зовут... Славная собака была!.. Вот и тебя, как ее, тоже паршивым щенком достал, выкормил, да на горе... Голодаем вот...

Лиска виляла хвостом и ласково смотрела в глаза нищему...

Начало светать... На Спасской башне пробило шесть. Фонарщик прошел по улице и потушил фонари. Красноватой полосой засветлела зорька, погашая одну за другой звездочки, которые вскоре слились с светлым небом... Улицы оживали... Завизжали железные петли отпираемых где-то лавок... Черные бочки прогромыхали... Заскрипели по молодому снегу полозья саней. Окна трактира осветились огоньками...

Окоченелый от холода, выполз нищий из своего логова в сад, поклонил пальцы, протер ими глаза, заплывшие, опухшие, — умылся — и приласкал вертевшуюся у ног Лиску.

— Холодно, голубушка, холодно, ну полежи, милая, полежи ты, а я пойду постреляю² и хлебушка принесу... Ничего, Лиска, поправимся!.. Не все же так... Только ты-то не оставляй меня, не бегай... Ты у меня, безродного бродяги, одна ведь. Не оставишь, Лиска?

Лиска еще пуще заюлила перед нищим и по его приказанию ушла в логово, а он, съжившись и засунув руки в рукава рваного кафтана, зашагал по снегу к блестящим окнам трактира...

* * *

— Сюда, ребята, закидывай сеть, да захватывай подвал, там, наверное, есть! — командовал рыжий мужик шестерым рабочим, несшим длинную веревочную сетку вроде невода.

Те оцепили подвал, где была Лиска.

Она с лаем выскочила из своего убежища и как раз запуталась в сети. Рыжий мужик схватил ее за ногу. Она пробовала вырваться, но была схвачена железными щипцами и опущена в деревянный ящик, который поставили в фуру, запряженную рослой лошадьё. Лиска билась, рвалась, выла, лаяла и успокоилась только тогда, когда ее выпустили на обширный двор, окруженный хлевушками с сотнями клеток, наполненных собаками.

Некоторые из собак гуляли по двору. Тут были и щенки, и старые, и дворовые, и охотничьи собаки — словом, всех пород. Лиска чувствовала себя не в своей тарелке и робко оглядывалась. Из конторы вышел полный коротенький человек и, увидав Лиску, спросил:

— Это откуда такая красавица?.. совсем лисица, и шерстью, и хвостом, и мордочкой.

— Бродячая, в саду взяли...

— Славная собачка! не сажать ее в клетку, пусть в конторе живет, а то псов прорва, а хорошего ни одного нет... Кличка ей будет «Лиска»... Лиска, Лиска, иси сюды!

Лиска, услышав свое имя, подбежала к коротенькому человечку и завияляла хвостом.

Ее накормили, устроили ей постель в сенях конторы, и участь ее была обеспечена, — она стала общей любимицей...

Только что увезли ловчие Лиску, возвратился и бродяга в свой подвал. Он удивился, не найдя в нем своего друга, и заскучал. Ходил целый день как помешанный, искал, кликал, хлеба в подвале положил (пушай, мол, дура, поест с голодухи-то, набегается ужо!), а Лиски все не было... Только вечером услышал он разговор двух купцов, сидевших на лавочке, что собак в саду «ловчие переимали» и в собачий приют увезли.

— В какой приют, ваше степенство? — вмешался в разговор нищий, подстрекаемый любопытством узнать

о судьбе друга.

— Такой уж есть, выискались, вишь, добрые, вместо того чтобы людей вот вроде тебя напоить-накормить да от непогоды пригреть, — собакам пансион устроили.

— Вроде как богадельня собачья! — вставил другой, — и берегут и холят.

Поблагодарил бродяга купцов и пошел дальше, куда глаза глядят.

Счастлив хоть одним был он, что его Лиске живется хорошо, только никак не мог в толк взять, кто такой добрый человек нашелся, что устроил собачью богадельню, и почему на эти деньги (а стоит, чай, немало содержать псов-то) не сделали хоть ночлежного угла для голодных и холодных людей, еще более бесприютных и несчастных, чем собаки (потому собака в шубе, — ей и на снегу тепло). Немало он подивился этому.

Прошло три дня. Сильно заскучал бродяга о своем культяпом друге (и ноги-то погреть некому и словечушка не с кем промолвить!) и решил наконец отыскивать приют, где Лиска живет, чтобы хоть одним глазком посмотреть, каково ей там (не убили ли ее на лайку, али бо што).

Много он народу переспросил о том, где собачья богадельня есть, но ответа не получал: кто обругается, кто посмеется, кто копеечку подаст да, жалеючи,

головой покачивает, — «спятил, мол, с горя!» Ходил он так недели зря. Потом, как чуть брезжить стало, увидел он в Охотном ряду, что какие-то мужики сеткой собак ловят да в карету сажают, и подошел к ним.

— Братцы, не вы ли недавнись мою Лиску в саду пымали? Така собачонка желтенькая, культияпая...

— Там вот пымали в подвале под старым трактиром... Как лисица, такая...

— Это она! Самая она и есть!

— Ну, пымали, у нас живет, смотритель к себе взял, говядины не в проед дает...

— А где ваша бог...

Но бродяга не договорил, — вдали показался городской. («Фараон»³ трикля-тущий, и побалакать не даст, — того и гляди «под шарь»⁴ угодишь, а там и «к дяде»!)

Пошел бродяга собачью богадельню разыскивать. Идет и думает. Вспомнилось ему прежнее житье-бытье... Вспомнил он родину, далекую, болотную; холодную «губерню», вспомнил, как ел персики и инжир⁵ в Туре-чине, когда «во вторительную службу» воевать с чумазой туркой ходил... Вспомнил он и арестантские роты, куда на четыре года военным судом осудили «за пьянство и промотание казенных вещей»... (Уж и вешши! Рваная шинелишка — рупь цена — да сапоги старые, в коих зимой Балканы перевалил да по колено в крови ходил!) ... Выпустили его из арестантских рот и волчий билет ему дали (как есть волчий, почет везде, как волку бешеному, — ни тебе работа, ни тебе ночлег!). Потерял он этот свой билет волчий, и стали его, как дикого зверя, ловить: поймают, посадят в острог, на родину пошлют, потом он опять оттуда уйдет... Несколько лет так таскали. Свыкся он с бродяжной жизнью и с осторожным житьем-бытьем. Однако последнего боялся теперь, потому что общество его отказалось принимать, и если «пымают, то за бугры, значит, жигана водить».⁶ А Сибири ему не хотелось!..

* * *

Опустилась над Москвой ночь — вьюжная, холодная... Назойливый, резкий ветер пронизывал насквозь лохмотья и резал истомленное, почерневшее от бродяжной жизни лицо старого бездомника. А все шагал он по занесенным снегом улицам Замоскворечья, пробираясь к своему убежищу... Был он у «собачьей богадельни» и Лиску на дворе видел, да опять «фараоны» помешали. Дальше пошел он. Вот Москва-река встала перед ним черной пропастью... Справа, вдалеке, сквозь вьюгу чуть блестели электрические фонари Каменного моста... Он не пошел на мост и спустился по пояс в снегу на лед Москвы-реки.

Бродяга с утра ничего не ел, утомился и еле передвигал окоченевшие, измокшие ноги... Наконец, подле проруби, огороженной елками, силы оставили его, и он, упав на мягкий, пушистый сугроб, начал засыпать... Чудится ему, что Лиска пришла к нему и греет его ноги... что он лежит на мягком лазаретном тюфяке в теплой комнате и что из окна ему видны Балканы, и он сам же, с ружьем в руках, стоит по шею в снегу на часах и стережет старые сапоги и шинель, которые мотаются на веревке... Из одного сапога вдруг лезет «фараон» и грозит ему...

На третий день после этого дворники, сидя у ворот, читали в «Полицейских ведомостях», что «Вчерашнего числа на льду Москвы-реки, в сугробе снега, под елками, окружающими прорубь, усмотрен полицией неизвестно кому принадле-

жащий труп, по-видимому солдатского звания и не имеющий паспорта. К обнаружению звания приняты меры».

А кому нужен этот бродяга по смерти? Кому нужно знать, как его зовут, если при жизни-то его, безродного, бесприютного, никто и за человека с его волчьим паспортом не считал... Никто и не вспомнит его! Разве когда будут копать на его могиле новую могилу для какого-нибудь усмотренного полицией «неизвестно кому принадлежащего трупа» — могильщик, закопавший не одну сотню этих безвестных трупов, скажет:

— Человек вот был тоже, а умер хуже собаки!.. Хуже собаки!..

А Лиска живет себе и до сих пор в собачьем приюте и ласковым лаем встречает каждого посетителя, но не дожидается своего воспитателя, своего искреннего друга... Да и что ей? Живется хорошо, сыта до отвала, как и сотни других собак, содержащихся в приюте... Их любят, холят, берегут, ласкают...

Разве иногда голодный, бесприютный бедняк посмотрит в щель высокого забора на собачий обед, разносимый прислугой в дымящихся корытах, и скажет! — Ишь ты, житье-то, лучше человеческого!

Лучше человеческого!

Без возврата

С кладбищенской колокольни тихие, торжественные звуки часового колокола пронесли по спавшей окрестности.

Двенадцать.

Новый часовой сосчитал часы и осмотрелся, насколько позволял это сделать мрак темной ночи. Он родился в этом городе, и местность, скрытая мраком ночи, была ему хорошо знакома. Пороховой погреб, порученный его надзору, стоял в полуверсте от городской заставы, на глухом всполье, заросшем то мелким кустарником, рассыпанным по кочкам давно высохшего болота, то бурьяном. Направо, шагах в полутораста от погреба, возвышалось на голом холме еврейское кладбище, а налево, в роскошной березовой роще — христианское, обнесенное полуразрушившимся земляным валом, местами сровнявшимся с землею. Все это знакомые места, где он играл ребенком. Они напомнили ему годы детства, и невольно он задумался над своим настоящим.

Из дядиной семьи, где он был принят и обласкан как сын родной, Воронов очутился в казармах, под командой фельдфебеля, выкреста из евреев, и дядьки, вятского мужика, заставлявшего своего «племяша» чистить сапоги и по утрам бегать в лавку и трактир с жестяным чайником за покупкой: «на две — чаю, на две-сахару и на копейку — кипятку».

Тяжела была ему первое время солдатская жизнь, невыносимо казалось это день-денское ученье, грязные работы и прислуживанье дядьке.

Только ночью, с усталыми, изломанными членами, он забывался сладкой грезой. Но пять часов утра, и голос дневального «шоштая рота, вставай!» да звук барабана пли рожка, наявивавшего утреннюю зорю, погружал его снова в неприглядную действительность солдатской жизни.

Он с усилием открывал глаза и расправлял изломанные на ученье члены.

Сквозь густой пар казарменного воздуха мерцали красноватым потухающим пламенем висячие лампы с закоптелыми дочерна за ночь стеклами и поднимались с нар темные фигуры товарищей. Некоторые уже, набрав в рот воды, бегали по

усыпанному опилками полу, наливали в горсть воду и умывались. Дядькам и унтер-офицерам подавали умываться из ковшей над грудями опилок. Некоторые из «старых» любили самый процесс умывания и с видимым наслаждением доставали из своих сундучков тканые полотенца, присланные из деревни, и утирались. А спавший рядом с Вороновым на нарах «штрихованный» солдатик Пономарев, пропивавший всегда и все, кроме казенных вещей, утирался полой шинели или суконным башлыком. Полотенца у Пономарева никогда не было.

— Ишь лодырь, полотенца собственного своего не имеет! — заметил ему раз взводный Терентьев.

— Где же я возьму, Трифон Терентьич? Из дому не получаю денег, а человек я не мастеровой.

— Лодырь ты, дармоед, вот что! У исправного солдата всегда все есть, хоть Егорова взять для примеру!

Егоров, солдатик из пермских, со скопческим, безусым лицом, встал с нар и почтительно вытянулся перед взводным.

— Егоров от нас же наживается, по пятаку с рубля проценты берет... А тут на девять-то гривен жалованья в треть да на две копейки банных не раскутишься...

— Пшел, становись на молитву! — раздалась команда дежурного по роте и прекратила спор...

Воронов считался в роте «справным» и «занятым» солдатом. Первый эпитет ему прилагали за то, что у него все было чистенькое и мундир, кроме казенного, срочного, свой имелся, и законное число белья, и пар шесть портянок. На инспекторские смотры постоянно одолаживались у него, чтобы для счета в ранец положить, ротные

бедняки, вроде Пономарева, и портянками и бельем. «Занятым» называл Воронова унтер за его способность к фронтовой службе, «емнастике» и «словесности», обыкновенно плохо дающейся солдатам из неграмотных, которых всегда большинство в пехотных полках армии.

— Садись на словесность! — бывало, командует взводный офицер из сдаточных, дослужившийся годам к пятидесяти до поручика, Иван Петрович Копьев.

И садится рота: кто на окно, кто на нары, кто на скамейку.

— Егоров, что есть солдат? — сидя на столе, задает вопрос Копьев.

Егоров встает, уставляет белые, без всякого выражения глаза на красный нос Копьева и однотонно отвечает:

— Солдат есть имя общее, именитое, солдат всякий носит от генерала до рядового...

— Врешь! Дневальным на два наряда... Что есть солдат, Пономарев?

— Солдат есть имя общее, знаменитое, носит имя солдата...

— Врешь. На прицелку на два часа! Не носит имя, а имя носит... Воронов, что есть солдат?

— Солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдата носит всякий военнослужащий от генерала до последнего рядового.

— Молодец Воронов!

— Рад стараться, ваше благородие

Далее следовали вопросы: «что есть присяга, часовой, знамя» и др. и, наконец, сигналы. Для этого призывался горнист, который на рожке играл сигналы, и

Копьев спрашивал поочередно, какой сигнал что значит, и заставлял спрашиваемого проиграть сигнал на губах или спеть его словами. В последнем случае горнист отсылался.

— Играй наступление, раз, два, три! — хлопал в ладоши Копьев, и с последним ударом взвод начинал хором:

— Та-ти-та-та, та-ти-та-та, та-ти, та-ти, та-ти-та, та, та, та.

— Верно! пой словами.

И взвод пел: «За царя и Русь святую уничтожим мы любую рать врагов».

Если взвод пел верно, то Копьев, весь сияющий, острил:

— У нас, ребята, при Николае Павловиче, этот сигнал так пели: «У тятеньки, у маменьки просил солдат говядинки, дай, дай, дай!» А то еще так: «Топчи хохла, топчи хохла, топчи, топчи, топчи хохла, топ, топ, топ!»

Взвод хохотал, и Копьев не унимался, он каждый сигнал пел по-своему.

— А ну-ка, ребята, играй четвертой роте! — Та-та-ти-а-тат-та-да-то!

— Словами!

— «Вот зовут четвертый взвод!»

— А у нас так пели: «Настассия-попадья», а то: «Отрубили кошке хвост!».

И Копьев рад, ликует, глядя на улыбающихся солдат.

Заго если ошибались в сигналах — беда. Нос его багровел больше прежнего, ноздри раздувались, и половина взвода назначалась не в очередь на работу или «удила рыбу». Так называлось двухчасовое стоянье «на прицелке» с мешком песку на штыке. Воронов ни разу не был наказан ни за сигналы, ни за словесность, ни за фронтовое ученье. В гимнастике и ружейных приемах он был первым в роте, а в фехтовании на штыках побивал иногда «в вольном бою» самого Ермилова, учебного унтер-офицера, великого мастера своего дела.

— Помни, ребята, — объяснял Ермилов ученикам-солдатам, — ежели, к примеру, фихтуешь, так и фихтуй умственно, потому фихтование в бою есть вещь первая, а главное, помни, что колоть неприятеля надо на полном выпаде в грудь, коротким ударом, и коротко назад из груди штык вырви... Помни, из груди коротко назад, чтобы ён рукой не схватал... Вот так: р-раз — полный выпад и р-раз — назад. Потом р-раз — д-ва, р-раз — д-ва, ногой коротко притопни, устрашай его, неприятеля, р-раз — д-ва!

И Воронов мастерски коротко вырывал штык из груди воображаемого неприятеля и, энергично притопывая ногой, устрашал его к крайнему удовольствию Ермилова, любившего его «за ухватку».

— Что тебя скрючило? Живот болит, что ли, мужик? — кричал, бывало, Ермилов на скорчившегося с непривычки к боевой стойке солдата.

— А? Что это? Ты вольготно держись, как генерал в карете, развались, а ты как гусь на проволоке...

Любили Воронова и солдаты за то, что он рад был каждому помочь, чем мог, и даром всем желающим писал письма в деревню.

— У нас в роте и такой-то писатель, такой-то писатель объявился из молодых, что страсть, — говорили солдаты шестой роты другим, — такие письма складные пишет, что хоть кого хошь разжалобит, и денег пришлют из деревни...

Прослужил Воронов девять месяцев, все более и более свыкаясь со службой и заслуживая общую любовь. В караул его назначали в первый раз, к пороховому погребу...

Воронов со страхом оглядывался, стоя на своем посту, и боязливо жался к будке, крепко сжимая правой рукой ложе винтовки...

Ночь была тихая и темная, хоть глаз выколи. Такие ночи нередко бывают во второй половине августа месяца в нашей средней полосе России.

Прямо перед ним громоздился черный город, в котором в виде красноватых точек, обрамленных радужными кругами, виднелись несколько фонарей, а направо и налево не видно зги.

Часовой обернулся лицом по направлению к кладбищу, снял шапку и перекрестился.

"Отец мой и мать здесь лежат..." — подумалось ему...

«А тут, налево, подле еврейского кладбища, жида-знахаря хоронили... Похоронили, а он все по ночам ходил, так осиновый кол ему в спину вбили»... Вспомнились Воронову предания, слышанные в детстве...

«Тут вот, у нашего кладбища, солдатик расстрелянный закопан... А здесь...»

Вдруг какие-то радужные круги завертелись в глазах Воронова, а затем еще темнее темной ночи из-под земли начала вырастать фигура жида-знахаря, насквозь проколотаая окровавленным осиновым колом... Все выше и выше росла фигура и костлявыми, черными, как земля, руками потянулась к нему... Воронов хочет перекреститься и прочесть молитву «Да воскреснет бог», а у него выходит:

— Солдат есть имя общее, знаменитое...

А фигура все растет и все ближе тянется к нему руками. Он закрыл глаза, но и сквозь закрытые веки он еще яснее видит и землистые руки, и, как у кошки, блестящие, где-то вверху, зеленые глаза, и большой, крючковатый нос жида...

А сзади раздаются чьи-то тяжелые шаги и тихие, за душу берущие стоны.

Целый рой приведенный встает перед часовым: и жид-знахарь с землистыми руками и зелеными глазами оскаливает белые, длинные, как у старого кабана, клыки, и фигура расстрелянного солдатика в белом саване лезет из-под земли, и какие-то звери с лицами взводного офицера Копьева.

Он чувствует, как стучат зубы и как волосы поднимают дно его фуражки. Он еще крепче сжал ружье и еще крепче прижался к будке.

А фигуры, всё одна страшней другой, носились перед ним, а сзади что-то тихо, тихо стонало, будто под землей.

Он поднял руку, чтобы перекреститься, но в тот момент ружье выпало у него из рук и пропало. Ему показалось, что ружье провалилось сквозь землю...

Не помня, что делает, не сознавая, что с ним, Воронов бросился бежать. Он мчался, как вихрь, едва касаясь земли, а привидения гнались за ним со стонами, свистом, гиканьем. Ему ясно слышались неистовые возгласы, вой, рев, и громче всех голос Копьева: «Врешь — не уйдешь!»

Он бежал, а над головой его мелькала мохнатая, землистая рука жида-знахаря и его черная фигура, головой упирающаяся в небо. Вдруг из-под земли вырос кто-то в белом саване и обхватил его...

Пронизывающий холодок привел Воронова в чувство. Он открыл глаза.

Над ним свесились ветки деревьев с начинающими желтеть листьями. Красноватые лучи восходящего солнца яркой полосой пробегали по верхушкам деревьев, и полоса становилась все шире и шире. Небо, чистое, голубое сквозило сквозь ветки.

Воронов привстал и оглянулся. Кругом могильные холмики и кресты. Рядом

с ним белый, только что выкрашенный крест. Он снова опустился на землю и на момент закрыл глаза, не понимая, что с ним, где он. Рука его упала на пояс и нащупала патронную суму.

Воронов что-то сообразил, и ужас отразился в его глазах.

— Да ведь я с часов бежал! — невольно сорвалось у него с языка.

«Часовому воспрещается сидеть, спать, есть, пить, курить, разговаривать с посторонними, делать в виде развлечения ружейные приемы, выпускать из рук или отдавать кому-либо ружье и оставлять без приказа сменяющего пост. Часовой, оставивший в каком бы то ни было случае свой пост, подвергается расстрелянию», — промелькнула в уме его фраза, заученная со слов Копьева. Рас-стре-лянию!

Он закрыл глаза и увидел памятную ему с детства картину, здесь же, близ кладбища, расстреливали солдата. Несчастный стоял привязанный к столбу в белом саване. Перед ним стояла шеренга солдат. Молодой, рыжий, с надвинутой на затылок кепи офицер махнул белым платком, и двенадцать ружей блеснули на ярком утреннем солнце светлыми стволами, и в одну линию, параллельно земли, вытянулись впереди солдат, сделавших такое движение, будто бы они хотели достать концами острых штыков солдатика в саване, а ноги их примерзли к земле.

Рыжий офицер опять махнул платком. Из стволов вырвались одновременно двенадцать огненных язычков, затем клубов белого дыма, слившихся в сплошную массу, и белый саван на привязанном солдатике дрогнул, всколыхнулся раза три, а голова его в белом колпаке бессильно повисла на груди.

Воронов с такими же, как он, ребяташками смотрел из огорода на казнь. Это было лет десять назад, очень рано утром. Утро было такое же солнечное, ясное, как и теперь. Воронов вздрогнул, и голова его опустилась так же бессильно на грудь, как у расстрелянного солдатика.

— Вот так же и меня! — Он еще два раза поднял и опустил голову на грудь, будто репетируя, как опустить голову, когда его будут расстреливать, и каждый раз, как он опускал голову, чувствовал, что в грудь вонзались пули...

Он вдруг открыл глаза и вскочил на ноги.

— А может быть, еще не хватились, может, и смена не приходила, — вскрикнул Воронов и выбежал на опушку кладбища, на вал и, раздвинув кусты, посмотрел вперед. Далеко перед ним раскинулся горизонт. Налево, весь утопающий в зелени садов, город с сияющими на солнце крестами церковей, веселый, радостный, не такая темная масса, какой он казался ночью... направо мелкий лесок, левой его дерновая, зеленая горка, а рядом с ней выкрашенная в казенный цвет, белыми и черными угольниками, будка, подле порохового погреба.

Взор Воронова остановился на будке. Около нее стоял недвижимо, как статуя, новый часовой.

У дверей погреба ходил офицер и несколько солдат. Офицер осматривал печати и что-то размахивал руками. Солдаты держали под козырек.

Воронов посмотрел на город, на поляну, где расстреливали солдатика, перекрестился и ползком, между кустарниками, дрожа от страха, добрался до лесу...

Перед ним открывалась бесконечная лесная трущоба.

Воронов обернулся назад и посмотрел в сторону города.

«Расстрелянию», — мелькнуло в его уме.